

# ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ, РЕФЕРАТЫ

DOI: 10.19181/socjour.2023.29.1.9

EDN: XNKPMМ



*А. Ю. СОГОМОНОВ*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт социологии ФНИСЦ РАН.

109544, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 5, стр. 1.

## ИДЕЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСФЕР И ГЕНЕЗИС РОССИЙСКОГО МОДЕРНА

(отклик на книгу: *Лаборатория понятий:*

*Перевод и языки политики в России XVIII века /*

*Под ред. С.В. Польского и В.С. Ржеуцкого. М.: НЛЮ, 2022)*

*Аннотация.* Авторы коллективной монографии исследуют переводческие практики в ранней российской империи в общем контексте социокультурных трансформаций, охвативших все сферы общественно-политической жизни страны в XVIII веке. Европа и Россия в эпоху Просвещения представляли собой разные семиотические системы, и именно группа переводчиков, осуществивших трансфер западных идей, теорий и понятий как совокупный актор совершили своего рода «культурную революцию», изобретая новые познавательные перспективы и социально-политический тезаурус. Многие представители русской элиты владели иностранными языками и знакомились с западной литературой в подлиннике, однако настоящий трансфер западной мысли полноценно совершался лишь как акт перевода, как прецедент выражения незнакомых смыслов на «русском». Развитие переводческой традиции в России куда красноречивее свидетельствует об эволюции общественно-политической мысли, чем оригинальные сочинения отечественных авторов того времени. И поскольку перевод в тогдашних условиях всегда сопровождался рождением чего-то лексически и семантически нового, не только в словах, но и в формах мышления, то научная метафора «лаборатория понятий» для обозначения процесса интеллектуального зарождения русского модерна представляется абсолютно оправданной.

*Ключевые слова:* переводческий поворот; гражданская наука; лексический и семантический трансфер; трансмиссия и адаптация языков политики; российский модерн.

*Для цитирования:* *Согомонов А. Ю. Идеино-терминологический трансфер и генезис российского модерна (отклик на книгу: Лаборатория понятий:*

перевод и языки политики в России XVIII века / Под ред. С.В. Польского и В.С. Ржеуцкого. М.: НЛЮ, 2022) // Социологический журнал. 2023. Том 29. № 1. С. 161–176. DOI: 10.19181/socjour.2023.29.1.9 EDN: XNKPM

Взаимопритяжение истории и социологии научно обосновано и имеет давнюю познавательную традицию в нашей академической среде. Этот синтез успешно удавался П.Л. Лаврову, М.М. Ковалевскому, Н.И. Карееву, П.А. Кропоткину. В последнюю четверть прошлого века это движение вдобавок сопровождалось учреждением новых отраслей знания, подобно «культурным исследованиям», «исторической социологии», «истории понятий», «социальной истории» и др. Внутри них порой очень трудно различить, в рамках какой методологии выполнено то или иное исследование, и поэтому все чаще говорится о паритете «наук о культуре» во множественном числе и без уточнения их дисциплинарной идентичности. Сегодня историки уже гораздо чаще опираются на социологические теоретические концепты, чем поколение назад, а социологи, в свою очередь, конструируют аналитические объекты на базе эмпирических материалов исторических штудий.

В современной науке историко-социологический синтез получил популярность на закате советской эпохи благодаря работам таких ярких ученых, как Б.Ф. Поршнев и Б.Н. Миронов. В первое десятилетие нашего столетия этот союз обрел законченную институциональную форму, а кроме того, вошел самостоятельными дидактическими курсами в университетские программы, прежде всего благодаря усилиям и многочисленным публикациям замечательного тандема И.М. Савельевой и А.В. Полетаева.

В современной русистике междисциплинарный синтез двух подходов с недавних пор воспринимается как вполне ожидаемый, логичный и эвристичный. Особенно это характерно для исследований генезиса русского модерна в императорский период и его последующих трансформаций, в том числе в рамках большевистского проекта. Естественно, что эти темы, в принципе, не могут быть раскрыты без обращения к теориям модернизации и, конечно же, без опоры на большие исторические массивы данных.

Кроме всего прочего, первая треть XXI в. обострила актуальность исследований генезиса модерна и домодерновых состояний общества и политики своими поражающими воображение геополитическими «откровениями». Сегодня очевидно, что все долгосрочные прогнозы развития мировой цивилизации, которые ранее строились на допущении плавного развития «высокой современности» и ее якобы поступательного саморазвития, в буквальном смысле провалились. Взоры социальных ученых вновь обратились к истокам современности и альтернативным моделям модернизации, анализ которых никак

не поспособствовал ни оптимистическому видению будущего, ни его большей предсказуемости. Нынешняя гуманитарная и социальная науки разуверились в лонгитюдной стабильности модерна, а значит, подвергают сомнению его фундаментальный посыл — западный универсализм. И чтобы понять, почему провалился когнитивный проект «теория модернизации», взгляды социологов сегодня в большей степени обращены в весьма отдаленное прошлое, нежели в грядущее.

Среди немногочисленных и недавних работ на эту тему, безусловно, инновационной и научно очень интригующей можно назвать коллективную монографию «Лаборатория понятий: перевод и языки политики в России XVIII века», вышедшую под редакцией именитых социальных историков С.В. Польского и В.С. Ржеуцкого [2]. Книга стала итоговой публикацией материалов конференции «Перевод общественно-политической литературы и формирование языка “гражданских наук” в России (конец XVIII — начало XIX века)», проходившей в Москве в Германском историческом институте в феврале 2017 г. Она была организована в рамках проекта этого же института «Трансфер европейских общественно-политических идей и переводческие практики в России XVIII века». Мне не хотелось бы рецензировать эту книгу в традиционном формате, а, отталкиваясь от ее идей и главным образом от теоретического вступления соредкторов, показать, насколько синтез социологии и истории может оказаться плодотворным в производстве нового научного знания. Книга фундаментальна и проясняет многие стороны генезиса русского модерна, а посему знакомство с ней весьма желательно для нашей социологической аудитории.

Центральная категория монографии — «гражданская наука» — понятие сложное, двусмысленное и оттого довольно трудно определяемое академически, хотя, казалось бы, лексически оно крайне просто сконструировано, а его семантика легко считывается. Тем не менее «гражданская наука» как категория западного историзма относительно недавно стала популярной в современных социальных и гуманитарных изысканиях. Эта наука не является академической отраслью в строго классическом смысле, тем более институциональной университетской дисциплиной. Это особая форма рационального знания, проистекающая из философско-просветительского энциклопедизма, в известном смысле она была противопоставлена обыденному «здоровому смыслу» как на заре раннего Нового времени, так и в последующий период расцвета проекта Модерн.

Прообразы гражданской науки обнаруживаются в разных лексических вариациях в сочинениях Цицерона, всякий раз по-разному обозначающего навыки и умения, необходимые гражданам для участия в управлении республикой и, вероятно, напрямую восходящие к политической эпистемологии Аристотеля, который включал ее в учение об «общем благе». Несмотря на то что в античные времена мыслители

действительно всерьез задумывались о знаниевых основах гражданственности в условиях прямой демократии, подлинная гражданская наука в современном ее понимании получила свое полное выражение лишь в эпоху Просвещения и посему является сугубо модернистским концептом, включающим аутентичный социально-философский тезаурус и базовый набор идей общественно-политической направленности, равно как и способы познания и толкования модернистской политики, ее институтов свободы и власти в целом.

Если в ареале западной цивилизации гражданская наука складывалась и активно развивалась вслед за меняющейся социальной реальностью (или, по крайней мере, шла с ней параллельно, нога в ногу), то за географическими пределами Запада все происходило в обратной исторической последовательности: привнесенная извне в чужой, хотя и не чуждый социально-политический контекст западная гражданская наука сперва способствовала необратимым переменам в общественной мысли и публичном языке, а затем инициировала трансформации собственно в социальной реальности. И хотя в такой откровенной форме читатель не обнаружит этого тезиса в рецензируемой книге, тем не менее именно он напрашивается из всей логики научного повествования «Лаборатории понятий».

С. Польской и В. Ржеуцкий во вступлении оговаривают, что предмет их книги — «это перевод как культурная практика и способ присвоения знания, в данном случае знания о власти и об устройстве общества» (с. 12). Но в таком случае логично встает вопрос: применительно к какой власти и какому обществу происходило присвоение нового знания в России XVIII в.? Разумеется, в ранней империи шли прямые заимствования в первую очередь универалистских основ политического и социального знания раннего европейского модерна. То есть в русскую культуру через систематические переводы и прямую лексическую трансляцию осуществлялся трансфер «основы основ» и «языков» западной социальной философии и политической науки. Иными словами, шла телепортация не столько аналитических инструментов, методов и способов общественного самопознания и социально-философского мышления, сколько набора нормативных представлений о политическом управлении и гражданской культуре, выраженных соответствующими языковыми средствами. Что в совокупности стало идейно-лингвистической первоосновой модернизационного «поворота» в России.

Обнаружить российских «двойников» разных проявлений западного универализма по понятным причинам было весьма затруднительно, и поэтому проще было их «сконструировать» в виде той «желательной» реальности, которая могла бы хоть как-то корреспондировать идеям западной гражданской науки. Или, еще проще, закрыть глаза на любые несоответствия между нормативным и реальным модерном.

В результате социальная практика и обновленный общественно-политический язык уже в XVIII столетии научились жить независимо друг от друга, как бы бок о бок, в параллельных «вселенных». И это впоследствии станет своего рода культурным мейнстримом русского пути в современность: подданные империи мыслили и говорили в одном смысловом поле, а действовали в другой системе координат.

С. Польской и В. Ржеуцкий отталкиваются от новомодных в современной западной теории и науках о культуре понятий «культурный поворот»<sup>1</sup>, «культурный трансфер» и «культурный перевод», адаптируя их в своих исследовательских интересах. В деятельности русских переводчиков они обнаруживают намеренность (стратегическую интенцию) и обращение к разным «техникам» перевода и работы со словом и смыслами. Что само по себе и неплохо, но не гарантирует корректности этих переносов. А кроме того, не всегда понятно, уясняли ли сами творцы российской «переводческой революции» свои широкие и узкие культуртрегерские задачи, понимали ли долгосрочные последствия своей деятельности. Очевидно лишь одно: переводческий трансфер в России стал для ранней империи базовым способом присвоения нового социально-политического знания и формирования новаторского публичного языка.

Зонтичным понятием «гражданская наука» соредакторы тома объединили все те переводные стратегии, с помощью которых транслированное знание вспомоществовало политике и государственной деятельности вообще. Понятно, что западноевропейский XVIII в. еще не ведал дисциплинарного разделения наук об обществе и власти, которое сформируется лишь столетие спустя; более того, мыслители Просвещения еще и не отличали научный текст от художественного, что в некотором смысле облегчало работу русским переводчикам. Их намеренность воспринималась как нечто очевидное: новое знание не столько было необходимо для познавательных целей (хотя и не без этого), сколько выступало фундаментальной составляющей государственной программы политического образования. Для этого иностранные тексты надлежало сперва вывести за скобки их исконных контекстов, а затем ре-контекстуализировать в отечественную культуру. Эта задача была далеко не из простых. По мере ее решения случались разные откровения и казусы, тупики и интересные находки, множественные семантические «непопадания» в исходные смыслы, причем не всегда понятно, случайно или сознательно.

Переводческое проектирование XVIII в., вначале весьма стихийное и случайное, осуществлялось в русле развития нового российского властно-административного дискурса, или, как писали в то время, во

---

<sup>1</sup> Прежде всего, в интерпретации Д. Бахманн-Медик (см. ее книгу «Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре» [1]).

имя утверждения «статского вежества». Эта совместная деятельность переводчиков, издателей и заказчиков предполагала работу не только с идеями и смыслами, но и с устаревшей лексикой. Для «правильных» понятий крайне не хватало аналогов в старорусском словаре, это затрудняло буквалистские переводы «слово в слово», что и подталкивало переводчиков, а вслед за ними властные и культурные элиты к курьезным передачам смыслов, к примеру, с помощью побуквенной транслитерации западной терминологии или через сохранение ее исконно иностранного написания. Это облегчало работу, но не способствовало лучшему усвоению. Отсюда параллельное хождение терминов, конкуренция между словами, накопление множественных коннотаций и прочие причудливые феномены становления публичного языка, стремившегося прежде всего к отражению в обновленном русском словаре западных универсалистских сущностей, при этом, безусловно, и к властно-элитному дистанцированию от обиходного простонародного языка средних слоев и низов. Правители ранней империи были удивительно чуткими к этому лингвистическому макропроцессу. Екатерина Великая, как хорошо известно, самолично принимала активное участие в формировании, очищении и легитимации новой общественно-публичной и культурной лексики.

С. Польской и В. Ржеуцкий открывают много интересных особенностей в становлении российского модерна, которые по-прежнему известны лишь узкому кругу специалистов по истории русского Философского века, а для широкой аудитории представляют собой terra incognita. К примеру, тезис о слиянии властных режимов и способов мышления, ставший трюизмом в современной социологии благодаря работам М. Фуко, находит интересное книжно-лингвистическое подтверждение. Дело в том, что слово «политика» в русской культуре эпохи Просвещения имело два семантических уровня: наука управления обществом и наука управления самим собой. И оба уровня утвердились в нашем культурном наследии благодаря ранним переводам, с одной стороны, книг для статского научения государственных чинов, а с другой — книг по гражданскому воспитанию подданных империи для обретения ими верного понимания своих должностей — партикулярных, гражданских и социальных. Книги эти были весьма разными по формату и тональности. Наряду с сочинениями, которые можно отнести к разряду теоретических трактатов, публиковалась литература увещательная, информационная, иллюстративная, морализаторская да и просто художественно-просветительская. Издание этих книг имело долгосрочные последствия с точки зрения не только «цивилизационного процесса» (по Н. Элиасу это — освоение нового этикета, светских манер, надлежавшей публичной речи и проч.), но и способов социального познания. А от себя к этому добавлю: еще и опыта социального конструирования, а точнее, искусственного приведения

российских реалий к соответствию с западными универсалистскими конструкциями в общественном сознании. В книге достаточно фактического материала для иллюстрации этого тезиса. В частности, на примере эволюции таких понятий, как деспотизм и абсолютизм, легко разглядеть «переводческую» траекторию раннего русского модерна.

Важно подчеркнуть, что для всех авторов монографии переводной текст вовсе не является простым посредником между разными социо-семиотическими системами, а всегда есть сотворение нового. Мысль эта может показаться довольно банальной, но это не так. Если в более поздние времена перевод хотя и оставался актом творческим, все же совершался между относительно близкими социокультурными системами. Россия по-прежнему оставалась страной довольно своеобразной, но в политико-культурном смысле все же уже была европейской. Когда речь идет о переводах в эпоху русского Просвещения, нельзя не признать за первыми русскими переводчиками роли креаторов, причем не только слов и понятий, но также интерпретаций, образов, символов и даже отчасти идентичности раннего модерна. Именно русским языком, к рождению которого эти люди имели самое прямое отношение, они впервые стали выражать смыслы и идеи, в течение Философского века насытив ими последующую культурную традицию России. В этом плане они могут считаться творцами не только новых возможностей в ранней империи, но и отчасти смысловой «колеи истории»; мы и по сей день пользуемся учрежденным ими общественно-политическим словарем с адекватно или искаженно переданной семантикой западного универсализма. Даже нашим сегодняшним социологическим воображением, базовыми категориями и расхожими образами мы по-прежнему во многом обязаны первым русским переводчикам европейской общественно-политической литературы.

«Переводчик» в трактовке С. Польского и В. Ржеуцкого — это социальный актор, «создающий свой текст и внедряющий его в культуру на основании определенных стратегий и практик» (с. 42). Но кто были заказчики этих переводов и каковы были их намерения? На рубеже XVII–XVIII вв. заказчиком чаще всего выступала московская элита, тогда еще не владевшая ни иностранными живыми языками, ни мертвой латынью, но желавшая познания и утилизации западных моделей политического участия во власти. И ее вполне устраивали переводы на языке старорусской книжности. Впрочем, уже тогда и, конечно же, несколько позднее приходит время «творчества»: путем простых транслитераций (прямое транскрибирование иностранных понятий кириллицей) или с помощью доместикации (то есть объяснения неизвестных социальных феноменов через поиск внутренних аналогов). Так русская культура раннего Просвещения становилась не просто пассивной «принимающей» стороной, но и «активным агентом межкультурного обмена» (с. 44). Нам остается лишь предположить, что

именно поэтому элита в партнерстве с переводчиками заметно отошла от исконных смыслов западного универсализма, не приняла его совокупно. В это время складывается двойственность в заимствованиях, формируется устойчивая реакция в риторической вилке между «этому надлежит учиться» и «а это нам неприемлемо». Причем российские цари, в том числе и Екатерина Великая, равно как и многие представители властного бомонда, играли в «двойственный» универсализм абсолютно открыто и сознательно.

Наверное, такое социальное поведение не следует считать сугубо российским феноменом. Об этом в книге мы находим отдельный пассаж. В целом культура европейского Просвещения во многом строилась вокруг переводов; большинство авторов стремились не столько написать собственные сочинения, сколько выработать свой критический взгляд в переводах, комментариях, переизданиях, компиляции. Разумеется, создавались и аутентичные авторские тексты, но даже в знаменитой «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, передававшей сам «дух» Просвещения, многое вращалось вокруг переводов. Как в Европе, так и в России, приходят к любопытному выводу С. Польской и В. Ржеуцкий, перевод выступает самостоятельным фактом культуры и, возможно, в не меньшей степени отражает эволюцию общественно-политической мысли, чем оригинальные сочинения. Весьма красноречиво на это указывает казус скорректированного в русском переводе фрагмента из «Энциклопедии». Французское довольно устойчивое выражение «любовь к свободе» переводчик заменил русским, видимо, как ему показалось, более корректным смысловым эквивалентом «любовь к Отечеству». Подобная семантическая подмена совершалась регулярно и, естественно, переводила всю общественную мысль совершенно в другое русло (с. 108). Примеры таких переводческих «поправок» можно приводить до бесконечности, благодаря им совершалась легитимация удобной, если не сказать выгодной, версии русского модерна, освященная авторитетом западной философии. Ведь сказанное (корректнее: переведенное и напечатанное) принадлежит мыслителю с мировым именем и признанием.

Теперь несколько слов о статистике. Поскольку книжный рынок в России в XVIII в. был на порядок меньше, чем в крупнейших центрах Европы, то в нем доля переводной литературы всегда казалась крайне внушительной — в разные периоды она варьировалась от четверти до половины от всех изданий. Это в разы больше, чем, к примеру, во Франции. Причем, судя по имеющимся данным, объем переводной литературы в России неизменно возрастал и достиг своего апогея ближе к концу столетия, а удельный вес переводов на русский, в частности, французской социально-философской и историко-географической литературы, составлял около 20% в общей совокупности переводов с французского, что, конечно же, довольно высокий показатель.



Вольтер по понятным причинам неизменно занимал первое место среди самых популярных для русских изданий писателей. Что, однако, не свидетельствует о лидерстве его идей и мыслей в русском общественно-политическом пространстве. Переводы сочинений Монтескье издавались куда меньшим числом, но их цитирование было запредельным. Отчасти оттого, что моду на Монтескье задавала сама верховная власть, но и, очевидно, потому, что европейская мысль в середине века параллельно осваивалась и на оригинальных языках, хотя оценить эти эпистемологические «квоты» вряд ли возможно.

Ю.М. Лотман в свое время писал о «множественности языков» в русской культуре Философского века. Эта идея получает интересное раскрытие в разных главах книги «Лаборатория понятий». Повествование в них идет не только о том, как в «мастерских» переводчиков шла работа с языками (разумеется, чаще всего методом проб и ошибок), но и о том, как впоследствии складывались конкурирующие языки политики, общественного познания, воспитания и самовоспитания, многие специализированные дискурсы. В кратком отклике на монографию нет возможности осветить все заслуживающие внимания авторские статьи, поэтому упомяну лишь те, которые мне показались наиболее провоцирующими и полезными для социологической аудитории. Всем же заинтересовавшимся этой книгой рекомендую осваивать ее самостоятельно с ориентацией на анализ частных сюжетов.

Самый значительный «куст» статей в книге посвящен развитию сферы «политического». Уже в петровскую эпоху исследователи обнаруживают сосуществование по крайней мере двух политических дискурсов — монархического и республиканского, что в дальнейшем непосредственно повлияло на властный режим, формы политического мышления и, разумеется, публичное говорение. В конце же концов на русском властном небосклоне воцарилась Екатерина II, «республиканец» на монаршем престоле. На протяжении всего XVIII в. обновленный политический язык в гораздо большей степени зависел от «переводов» и категориально-понятийного трансфера из европейских культур, чем от реально переживаемого ранней империей аутентичного исторического опыта. Власть жила и осуществлялась в двух измерениях. И поскольку работа со словарем шла весьма интенсивно, то и не удивительно, что очень многие издания того времени сопровождались внушительными по объемам глоссариями, кросс-языковой переключкой и т. п. Европейская терминология заимствовалась чаще всего в оригинальном виде, но нередко ей подбирались русские аналоги, что, правда, очень часто приводило в замешательство русского читателя, поскольку семантика подобного лексического «импортозамещения» не проясняла, а скорее, напротив, затуманивала смыслы.

И. Ширле (Университет Тюбингена) в своей статье «Понятия “народ” и “нация” в русских переводах второй половины XVIII века»

показывает всю сложность процесса семиотического трансфера на примере распространения в публичном дискурсе двух взаимно пересекающихся понятий. Она исходит из методологического постулата о том, что, в принципе, переведенный термин отражает лишь частичное значение содержащегося в нем исходного социокультурного опыта, однако таким образом оттачиваются переводческие практики и обновляется политический язык. Прогресс был в том, что переводы создавали для известных слов новые контексты (с. 113).

Европейское понятие “nation” чаще всего в русских изданиях передавалось через функционально схожие слова-эквиваленты (отечество, государство, общество, отчизна и т. д.), а переводчики так и не нашли нужного лексического способа выразить семантику его исходного значения. И хотя само слово «нация» уже встречается в русском словаре с начала Философского века, тем не менее, по разным соображениям, им предпочитали не пользоваться, даже у Фонвизина мы встречаем его в качестве прилагательного. Думаю, интуитивно русская мысль чего-то опасалась и посему избегала обращения к понятию «нация». В итоге эта центральная социологическая категория для всего модерна обретает в русском языке путаную полисемию, позволившую в более поздние времена «играть» во фразеологизмы, подобные «национальному духу» и «национальному характеру». Считалось, что они понятны каждому и их объяснять не надо, что и по сей день на руку многим нашим писателям.

С понятием «народ» происходила несколько иная метаморфоза, с его помощью описывались разные слои населения и разные общественные феномены. В итоге и оно лишилось «возможности» социологической операционализации. В русском общественно-политическом словаре XVIII в. мы обрели туманную многозначительность «народа» без какой-либо терминологической строгости, которая каждый раз прояснялась лишь *ad hoc*, то есть исключительно контекстом использования слова. Между тем в европейской культуре французское “*peuple*” и немецкое “*Volk*” в эпоху Просвещения, по мнению Ширле, обрели идентичное социологическое измерение, обозначавшее низшие слои общества («простой народ»), которые и выступали у философов первичным объектом просвещения (с. 124). В России же в знаменитой формуле Уварова возникает именно «народность», хотя в своих черновиках, выполненных им по-французски, граф все же употребил слово “*nationalité*”. И я думаю, что, размышляя про себя по-французски, министр просвещения имел в виду все же «цивилизованную народность» (что и есть «нация» для раннего модерна), но опустив во имя краткости и емкости слогана важный для уточнения его смысла предикат, тем самым подарил русскому консерватизму легитимную мистику извечной духовной неразрывности власти и населения.

Судьбу понятия «гражданское общество» в русской культурной среде того времени анализирует в статье «Понятия политической философии Адама Фергюсона в русских переводах конца XVIII – начала XIX века» Т. Артемьева (Санкт-Петербург, Педуниверситет имени А.И. Герцена). Этот термин довольно часто мелькал в периодике и государственных бумагах того времени. Екатерина активно им пользовалась, в частности в своем «Наказе», не утруждая себя никакими разъяснениями. Мы встречаем это понятие в сочинениях Н.И. Новикова и Н.М. Карамзина. Казалось бы, вполне удачный пример лексической трансмиссии. Однако трудно избавиться от сомнения, почему, если русская и шотландская интеллектуальные традиции существенно различались, толкования гражданского общества в них не были диаметрально противоположными. И те и другие видели в нем прежде всего «жизнь в обществе, уклад общественной жизни», а не коллективного субъекта модернистского образца. Проще говоря, использовали это понятие как тождественное «обществу» в раскрытии — «гражданское общежитие». Главный пафос шотландского Просвещения, который состоит в понимании общей намеренности гражданского общества на общественное, государственное и нравственное «улучшение» (improvement), так и остался «вещью в себе» для его разумения русской мыслью. С принятием же нейтральной версии «гражданского общества» как уклада жизни потерялся на пути трансляции идей Фергюсона и его шотландских коллег его универсалистский смысл — как инструмента и одновременно результата социально-нравственного прогресса. Хочется обратить внимание на то, что этот философский гордиев узел не распутан и поныне: нашему политическому мировоззрению вполне достаточно архаичной версии европейского понятия «гражданское общество» и отождествления его с «общественностью», словом, внедренным еще Карамзиным и в наше время социологически поддержанным В. Волковым в статье «Общественность: забытая практика гражданского общества» (1997).

Анализ, важный для социологического осмысления генезиса русского модерна, проведен Н. Плавинской (Москва, Институт всеобщей истории РАН). В статье «Политическая лексика в русских переводах Монтескье и Беккариа» она обращается к разным переводам сочинений этих мыслителей и их вкладу в формирование обновленного русского языка. Екатерина II свой «Наказ» строит на их постоянном цитировании, и поскольку тот монарший манифест имел громадное значение для формирования русского общественно-политического мышления и говорения в целом, не будет большим преувеличением сказать, что слова и образы этих двух мыслителей невольно становились некоей оптикой для рассмотрения социального мира. А самой монархине было важно держать под своим властным контролем познавательные инструменты раннего социологического воображения.

Ее интересовала не столько сама реальность, сколько монопольное право управлять тем, как надлежит «видеть» и «понимать» отечественную реальность глазами и разумом этих европейских просветителей. Государство, общество, свобода, гражданство, рабство как публичные лексемы и научные понятия включаются в российский социально-политический дискурс благодаря им. И даже если переводчики все еще использовали архаизмы, наподобие «вольности», «самовластия» или «безначалия», «избранных представителей» или «поверенных», тем не менее модернизация политического мышления шла своим чередом благодаря этим переводам, и новые представления о политических формах и институтах проникали в русскую культуру, пусть еще и в неосовремененном лексическом облики. Большая часть старой терминологии не сохранилась в русском языке и сейчас воспринимается устаревшей, отчего их универсалистская субстанция практически не изменилась.

И еще один авторский текст, на который хотелось бы обратить особое внимание, стал для меня большим открытием. В статье С. Польского (Москва, ВШЭ) «Рукописный перевод и формирование светского политического языка в России (1700–1760-е)» повествуется о параллельном книгоизданию хождении рукописных переводных текстов. Представление о политическом дискурсе этого времени ранее строилось на допущении о весьма поверхностном знакомстве русской элиты с европейской социально-политической литературой. Переведенные на русский язык западные издания можно было пересчитать по пальцам. Достоверно известно, что читающая публика с легкой руки Петра I была знакома с идеями С. Пуфендорфа по русской версии его сочинения «О должности человека и гражданина по закону естественному» (1726), а остальных европейцев знала больше понаслышке. Но откуда тогда такая осведомленность о европейской политической мысли у русских мыслителей и некоторых представителей высшей аристократии, как, к примеру, у В. Татищева, Д. Голицына и В. Долгорукова?

Благодаря титаническому по объему исследованию С. Польского мы открываем для себя любопытную страницу русской интеллектуальной истории. Теперь нет необходимости гадать: раннее русское Просвещение было хорошо знакомо с западной мыслью Нового времени благодаря рукописным переводам. Составленный Польским каталог рукописей поражает воображение, он содержит более сотни переводов, из которых чуть меньше половины — европейские трактаты на политические темы. Рукописные переводы вплоть до екатерининского правления всегда численно опережали печатные издания. Русский читатель первой половины XVIII в. открывал для себя рациональный дискурс европейской политической мысли благодаря именно рукописным текстам, которые передавались из рук в руки, переписывались

и отчасти даже сохранились до нашего времени. И в этом наилучшим образом проявлена роль русских переводчиков как трансляторов идей и понятий, напрямую повлиявших не только на сознание элит, но и на их политические вкусы и поведение. Усвоенные частью русской аристократии знания постепенно сотворили иную политическую культуру.

Европейские политические трактаты позднего Возрождения и раннего Нового времени представляли большую сложность для переводчиков и в первую очередь терминологическую. Во-первых, они изобиловали понятиями, для истолкования которых в русском историческом опыте не было ничего аутентичного. Реальности не корреспондировали друг с другом. Это был серьезный вызов, чаще всего такие иностранные слова калькировались или транслитерировались, хоть и не всегда удачно. Собственно, наш сегодняшний политический тезаурус частично был введен в оборот именно тогда. Во-вторых, сложные абстрактные понятия нуждались в толковании, для которого требовалась академическая компетентность, и ее катастрофически не хватало. В-третьих, переводчики очень часто сами сомневались в адекватности своего же восприятия чужого текста, ругали европейцев за «темноту высказываний» и, как пишет С. Польской, смело «улучшали» их тексты. Разумеется, не всегда это у них получалось успешно и тем более корректно. Да и дело было не только в массовых искажениях смысла. Переводческая деятельность, как каторжный труд, изнуряла и без того немногочисленную группу людей. Известный переводчик петровского времени Борис Волков, однажды осознав невыполнимость порученной ему царем работы, покончил жизнь самоубийством (с. 242).

Но и это еще не вся история. Если более или менее легко представить себе, насколько непосильной была задача достичь категориальной точности в переносе смыслов и терминов, а также создать при этом «дельный текст», то гораздо сложнее вообразить, с какими муками сталкивался высокопоставленный читатель этих рукописей, осваивавший непривычное знание, да еще и на непривычном языке. Однако потребность в политико-правовой фундированности все же была выше возникавших трудностей, и процесс переводов продолжался с нарастающей быстротой. Трудно оспорить основной посыл С. Польского, что понять природу и механизмы главной в истории русского модерна семантической и языковой трансформации стало возможным прежде всего именно на малоизученном историками и филологами материале русской рукописной переводной практики.

Почему аристократия отдавала предпочтение рукописным переводам? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Возможно, из-за страха цензуры, нежелания связываться с издательской волокитой. Но, скорее всего, я думаю, в силу «приватного» характера раннего русского Просвещения. Переводы делались по заказу вельмож, для

ближнего круга пользователей, на потребу заказчика, для укрепления его сословной репутации и, конечно же, для «совместного» с переводчиками освоения чужестранных идей и ответственной работы с обновляемым русским языком. В этом смысле рукописные переводы гораздо лучше укладываются в модель русского «авантюрного» Просвещения раннего XVIII века, чем обращение к массиву тиражируемых книг. Публичность в ту эпоху лишь только зарождалась, а салонная культура придет гораздо позже. В этом «междучарствии» рукописный перевод европейского сочинения гарантировал адресность, контроль, безопасность и накопление символического капитала у «продвинутой» части элиты, которая, как правило, владела иностранными языками, но тем не менее заказывала переводы. Безусловно, рукописные переводы рассказывают нам больше о «принимающей» стороне и весьма красноречиво повествуют о том, в каких условиях «кулуарно» зарождался русский модерн.

Рациональная политико-правовая мысль Европы предназначалась для весьма узкого круга «потребителей», широким же кругам читающей публики доставались отфильтрованные пересказы, сделанные именитыми писателями и первыми русскими публицистами с «правильными» комментариями, то есть преподносилось уже хорошо «упакованное» знание с «правильными» акцентами и нюансировкой. Примером тому может служить беллетристика В.Н. Татищева. Одним словом, благодаря проделанной социальными историками работе академические исследователи получили интересную историческую фактуру для понимания того, как именно в ранней империи закладывался чуть ли не самый главный механизм российской модернизации «сверху» — контролируемое и властно направленное Просвещение, изначально допускавшее при трансмиссии европейской гражданской науки любое редактирование и коррекцию западного универсализма.

К сожалению, в небольшом отзыве нельзя откликнуться на все идеи, которыми богата коллективная монография «Лаборатория понятий». Внимательное знакомство с ней показывает, что слово «лаборатория» выбрано не случайно, перед читателем открывается интересный горизонт раннего русского модерна, в котором именно Слово имело чрезвычайное значение в выстраивании нового социального порядка. Разумеется, генезис российского модерна был гораздо более сложным процессом, чем простое идейно-терминологическое «заимствование». И, социологически постигая этот процесс, приходится все время проводить различие между смыслами европейского универсализма, адекватно понятыми и принятыми, и теми, что, скорее, были искажены или отвергнуты. Более того, нам еще надлежит понять характер различий между культурным и институциональным опытом, глубоко прочувствованным и прожитым, и тем, что был лишь «прочитан» в переводных изданиях. Но это уже исследовательская задача на будущее.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Бахманн-Медик Д.* Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре / Пер. с нем. С. Ташкенова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 504 с.
2. *Лаборатория понятий: перевод и языки политики в России XVIII века /* Под ред. С.В. Польского и В.С. Ржеуцкого. М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 576 с.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

**Согомонов Александр Юрьевич** — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН. Телефон: +7 (903) 966-07-44. Электронная почта: [sogi@mail.ru](mailto:sogi@mail.ru)

Дата поступления: 01.03.2023.

---

**SOTSIOLOGICHESKIY ZHURNAL = SOCIOLOGICAL JOURNAL. 2023.**

**VOL. 29. NO. 1. P. 161–176. DOI: 10.19181/socjour.2023.29.1.9**

Review

*ALEKSANDR YU. SOGOMONOV*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institute of Sociology of FCTAS RAS.

5, bl. 1, Bolshaya Andronievskaya str., 109544, Moscow, Russian Federation.

**CONCEPTIONAL TRANSFER AND EARLY RUSSIAN MODERNITY****(REFLECTION ON: LABORATORY OF CONCEPTS: TRANSLATION****AND LANGUAGES OF POLITICS IN RUSSIA IN THE 18TH CENTURY.****ED. BY S.V. POL'SKOY AND V.S. RZHEUTSKIY. MOSCOW: NLO PUBL., 2022)**

*Abstract.* The authors of the book investigate the practices of translation in the context of socio-cultural transformations in the early years of the Russian Empire. Europe and Russia in the Age of Enlightenment were radically different semiotic systems, so the interpreters of western philosophy and political literature sparked a sort of “cultural revolution” in terms of the transfer of ideas and concepts, the genesis of a new public language. Early Russian interpreters introduced the world of western thought and the languages of politics and social thinking to the elites and to the emerging civil society. And as such the corpus of Russian interpretations is a more eloquent reflection of intellectual evolution than the original writings of Russian thinkers of that time. And given the fact that in those times translations would always involve the inception of new lexical and semantic elements, the “laboratory of concepts” scientific metaphor used in the book to denote the intellectual origination of Russian modernity is absolutely justified.

*Keywords:* translation turn; *civilis scientia*; lexical and semantic transfer; transmission and adaptation of languages of politics, Russian modernity.

**For citation:** Sogomonov, A.Yu. *Conceptional Transfer and Early Russian Modernity (Reflection on: Laboratory of Concepts: Translation and Languages of Politics in Russia in the 18th Century.* Ed. by S.V. Pol'skoy and V.S. Rzheutskiy. Moscow: NLO publ., 2022). *Sotsiologicheskij Zhurnal = Sociological Journal.* 2023. Vol. 29. No. 1. P. 161–176. DOI: 10.19181/socjour.2023.29.1.9

## REFERENCES

1. Bakhmann-Medik D. Cultural turns. [Russ. ed.: *Kul'turnye povoroty. Novye orientiry v naukakh o kul'ture*. Transl. from Germ. by S. Tashkenov. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie publ., 2017. 504 p.]
2. *Laboratoriya ponyatii: perevod i yazyki politiki v Rossii XVIII veka*. [Laboratory of Concepts: Translation and Languages of Politics in Russia of 18th Century.] Ed. by S.V. Pol'skoy and V.S. Rzhetskiy. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie publ., 2022. 576 p. (In Russ.)

## INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**Aleksandr Yu. Sogomonov** — Candidate of Historical Sciences, Lead Researcher,  
Institute of Sociology of FCTAS RAS. **Phone:** +7 (903) 966-07-44. **Email:** sogi@mail.ru

Received: 01.03.2023.

---